

А.Я. Панаева

Воспоминания

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
А11

A11 **А.Я. Панаева**
Воспоминания / А.Я. Панаева – М.: Книга по Требованию, 2021. – 290 с.

ISBN 978-5-4241-3380-0

Авдотья Яковлевна Панаева - русская писательница. Дочь актёра Я. Г. Брянского. В 1837 году вышла замуж за писателя И. И. Панаева. С середины 40-х годов в течение 15 лет - гражданская жена Н. А. Некрасова. В 1863 г. вышла замуж за актера Головачева. Собственные произведения публиковала под псевдонимом Н. Станицкий. Совместно с Некрасовым написала романы "Три страны света" (1848-1849) и "Мертвое озеро" (1851). В конце жизни опубликовала "Воспоминания", которые были восприняты неоднозначно.

ISBN 978-5-4241-3380-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А.Я. Панаева, 2021

ВОСПОМИНАНИЯ

Авдотья Панаева и ее воспоминания

Вступительная заметка К.И. Чуковского

I

Авдотья Яковлевна Панаева, написавшая эту книгу, была в течение пятнадцати лет гражданской женой Некрасова. Она деятельно помогала поэту в его редакционных и литературных работах, написала вместе с ним два романа «Три страны света» и «Мертвое озеро». В литературную среду ее ввел ее первый муж, известный журналист Ив. Ив. Панаев. И Некрасов, и Панаев были редакторами «Современника»; таким образом Авдотья Яковлевна имела драгоценную возможность почти ежедневно встречаться с замечательными русскими писателями, сотрудниками этого журнала. За ее столом нередкими гостями были Белинский, Герцен, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Чернышевский, Добролюбов, Писемский, Островский, Григорович. Трудно назвать выдающегося литератора сороковых, пятидесятых или шестидесятых годов, с которым она не была бы знакома. Едва ли был в России другой человек, который мог похвальиться таким обширным знакомством среди исторических русских людей. Многие из них любили ее. В письмах Белинского, Грановского, Чернышевского, Добролюбова, Герцена есть доброжелательные упоминания о ней. Фет посвятил ей стихотворение «На Днепре в половодье», Достоевский влюбился в нее с первого взгляда, Некрасов воспевал ее в любовных стихах.

Но она чувствовала расположение далеко не ко всем. Многих она ненавидела. Если всмотреться в ее мемуары, можно заметить, что ее симпатиями пользовались только плебеи, только люди демократического (или даже революционного) склада. С самым горячим сочувствием изображает она таких людей, как Бакунин, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Решетников, и не жалеет черных красок для изображения враждебной им «дворянской партии», — Тургенева, Дружинина, Анненкова. Во всех ее отзывах о тогдашних людях и нравах чувствуется именно партийность. Странным образом эта светская барыня усвоила себе демократические вкусы, и, когда в своих воспоминаниях она с таким негодованием посрамляет барские воззрения Тургенева и презрительно третирует Каткову или Болеслава Марковича, вы чувствуете в ней партизанку шестидесятых годов. Ей уже было под сорок, когда эта эпоха наступила; но во время той великой распри «отцов и детей», которая расколола всю русскую интеллигенцию на два враждующих стана, Панаева, вслед за Некрасовым, перешла на сторону «детей». Ей гораздо ближе и роднее показалась среда нигилистов, чем те кружки эстетствующих бар, в которых она вращалась дотоле. Самая атмосфера, окружавшая новых людей, показалась ей более чистой. Поэтому, напр., о Решетнике и Слепцове она отзывается с такой теплотой; поэтому столько умиления в том, что она говорит о Добролюбове и Чернышевском. Эти чувства были непритворны. Она доказала на деле свою преданность любимым ею людям. Добролюбов, умирая, поручил ей заботу о своей осиротелой семье, и она в течение многих лет выполняла его завещание. Когда Чернышевский сидел в Петропавловской крепости, она, одна из немногих, навещала его.

Ее воспоминания написаны в конце восьмидесятых годов и печатались в «Историческом Вестнике» (1889), но по выраженным в них симпатиям и антипатиям они кажутся написанными для «Современника» 1860 или 1861 года. Это сближает их с замечательными мемуарами ее мужа, Ивана Панаева, который тоже принадлежал к таким «раскаявшимся дворянам» и старался, под влиянием новых людей, развенчать поколение отцов, представителем которого был сам. Почему-то исследователи русской словесности не желают заметить эту тенденцию мемуаров Панаевой. А между тем, если есть в нашей литературе книга, которая могла бы внушить самому неподготовленному, начинающему, молодому читателю прочные симпатии к шестидесятникам, к их быту и душевному облику, это именно «Воспоминания» Панаевой.

II

Уже в первых главах ее мемуаров сказывается демократический склад ее мыслей; с омерзением изображает она дружно-сплоченную свору театральных чиновников, которые в эпоху Николая I буквально топтали ногами талантливых, но бесправных и нищих работников сцены. Так же омерзительны ей те развращенные крепостной неволей помещики, которых она изображает в четвертой главе.

Но, конечно, усвоив мировоззрение шестидесятых годов и отразив его в своих «Воспоминаниях», Авдотья Панаева по инстинктам и навыкам осталась человеком предыдущей эпохи, когда интеллигенция — почти вся — вербовалась из дворян. Эти инстинкты, к сожалению, нередко сказываются в ее мемуарах. Слишком много внимания она обращает на обывательские, ничтожные мелочи, слишком хорошо запоминает закулисные интриги и дрязги. Описывая то или другое большое событие, она нередко видит в нем только мелкие сплетни, а главного совсем не примечает. Таков, например, ее рассказ о разрыве Тургенева с «Современником». Ей в голову не приходит, что это событие — огромной общественной важности, знаменующее исторически-необходимый разрыв двух враждующих слоев интеллигенции; она простодушно уверена, что, если бы цензор Бекетов не показал Тургеневу какой-то статьи Добролюбова, все могло бы остаться по-старому.

Но это простодушное отношение к событиям не мешает ее мемуарам быть одной из интереснейших книг, потому что всякие мемуары именно тем и хороши, что в них не рассуждения, не теории, а наивное восприятие давнишних событий, — словно эти события происходят сейчас. Каждый, о ком вспоминает Панаева, съезжает живет перед нею; она видит его лицо, его прическу, его жесты, она любит или ненавидит его, как живого. Тургенев давно уже в могиле, а ей неприятен даже звук его голоса. Знаменитые люди, давно уже окаменевшие в нашем сознании, оживают, начинают шевелиться и делаются из монументов — людьми. Здесь много помог Панаевой ее беллетристический навык. Вспоминая старинные разговоры знаменитых людей, она передает эти разговоры дословно, будто слышит их сейчас. Это сильно способствует оживлению книги; книга становится доступной всякому малоразвитому читателю и усваивается чрезвычайно легко.

Жаль только, что, верно передавая сюжет разговора, Панаева часто фальшивит в тоне и стиле. Можно с уверенностью сказать, что она значительно вульгаризи-

ровала все речи Тургенева. Кто из читавших переписку Тургенева поверит, что Тургенев выражался таким, например, языком: «Я, брат, при встрече с каждым субъектом, делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе».

Она вся во власти своего элементарного стиля и до крайности упрощает изображаемых ею людей, но, повторяем, этот недостаток ее воспоминаний с избытком искупается их доступностью для широких читательских масс. Вообще, нельзя придумать лучшей книги для всякого начинающего знакомиться с историей русской словесности от сороковых до семидесятых годов.

Против этой книги до сих пор было только одно возражение: говорили, что она не достоверна. Но проверяя ее по другим материалам, относящимся к той же эпохе, мы находим много подтверждений того, что говорится на ее страницах. Невозможно написать биографию Некрасова, Добролюбова, Чернышевского, Слепцова, Решетникова, не пользуясь этой книгой как одним из самых надежных источников. Однако нельзя отрицать, что в разных второстепенных подробностях память нередко изменяет Панаевой. Этот недостаток мы постарались исправить по всевозможным дневникам, мемуарам и письмам, относящимся к той же эпохе. Мы проверили многие показания Панаевой и отметили (в особых примечаниях) все те случаи, когда эти показания не соответствуют истине; иногда мы считали нужным приводить также и те материалы, которыми ее показания подтверждаются.

III

Жизнь Панаевой подробно изложена нами в нашей книге «Некрасов».¹ Здесь же достаточно указать, что она родилась в Петербурге в 1819 или в 1820 году, что в детстве она много страдала от притеснений деспотки-матери, что образование она получила мизерное: в знаменитом Театральном Училище. Родители ее, Брянские, были актеры казенного Александрийского театра. Отец — умный и старательный трагик классической школы, мать — хорошая исполнительница самых разнообразных ролей в драме, оперетте и комедии.

Смолоду Панаева была необыкновенно красива, считалась одной из первых красавиц столицы: матовый цвет лица, черные волосы, черные огромные глаза. За Панаева она вышла почти девочкой, 18 лет. Около 1846 года сошлась с Некрасовым и прожила с ним под одной кровлей до 1863 года. За это время было написано ею для «Современника» много повестей и романов (под псевдонимом Н.Н. Станицкий): «Неосторожное слово», «Безобразный муж», «Жена часовного мастера», «Пасека», «Капризная женщина», «Необдуманный шаг», «Мелочи жизни» и др. В романе «Семейство Тальниковых» она пыталась описать свое детство и выразить протест против уродливого воспитания детей, но цензура исказила роман до неузнаваемости и в конце концов запретила его. Разойдясь с Некрасовым, Панаева вышла замуж за публициста А.Ф. Головачева, который вскоре скончался, оставив ее с малолетней дочерью без всяких средств к существованию. Она снова взялась за перо, писала романы и повести для «Нивы», «Живописного Обозрения» и пр. Незадолго перед смертью, по совету А.Н. Пыпина, она написала печатаемые нами воспоминания и скончалась на 74-м году жизни, 30 марта 1893 года.

Лучшим ее памятником являются посвященные ей стихотворения Некрасова: «Прости, не помни дней паденья», «Тяжелый крест достался ей на до-

лю», «Бьется сердце беспокойное» и многие другие. Некрасов и после разлуки с нею воспевал ее как близкого друга:

Всё, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас,
Мы на один алтарь сложили,
И этот пламень не угас.

IV

Через год после появления мемуаров Панаевой в «Историческом Вестнике», они вышли отдельной книгой — в неряшливом издании В.И.Губинского (1890). Книга сильно пострадала от цензуры: из девятой главы были выброшены страницы о цензоре-взяточнике, из тринадцатой — о цензурных мытарствах, которые претерпевал «Современник» в конце пятидесятых годов. Мы восстановили эти пропуски по первоначальному тексту.

К сожалению, в предыдущих изданиях многие имена были скрыты. Григорович именовался «литератором *N.*»; Воронцова-Дашкова — «графиней *N.*», Головачев — тоже *N.*, Сатин — «поэтом *B.*». Чернышевский — *Ч.*, Лев Толстой — «графом *T.*», Клыков — *K.*, Киреев — *K.*, Комаров — тоже *K.*, Тимашев — *T.*, Сверчков — *C.*, Боткин — *B. П. Б.* и т.д.

Всюду, где было возможно, мы, при помощи других мемуаров, заменили эти буквы полными именами. Благодаря этому стали гораздо яснее не только воспоминания Панаевой, но и другие книги, изображающие ту же эпоху.

Например, в шестой главе Панаева повествует о том, что во время ее пребывания в Париже Бакунин познакомил ее с какими-то казанскими помещиками, братьями Т. Покуда эти помещики были обозначены буквой, на них не обращали внимания. Но теперь нам удалось установить, что это были братья Толстые, владельцы села Ново-Спасское, Спасского уезда Казанской губернии, что один из них, Григорий Михайлович, был приятель Бакунина, жил по большей части в Париже, где встречался с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.

Он заявил себя горячим приверженцем революционных идей и обещал Карлу Марксу, что, тотчас по приезде в Россию, продаст свое казанское имение и вырученные деньги пожертвует на нужды европейской революции. Конечно, это было фанфанство, и он обманул Маркса, как впоследствии обманул Некрасова, обещая ему дать капитал на издание его «Современника». Из-за того, что его фамилия была у Панаевой скрыта, Д.Рязанов в своем известном труде «Карл Маркс и русские люди сороковых годов» (Петроград, 1918) смешал этого Григория Толстого с жандармским агентом Яковом Толстым и придал одному черты другого, чего никогда не случилось бы, если бы Панаева не прибегла к такой конспирации.

Таким образом, расшифровка одной только буквы, встречающейся в книге Панаевой, вносит существенное дополнение и в книгу Рязанова, и в книгу П.В. Анненкова, где этот Григорий Толстой (тоже неназванный по имени) выведен в качестве «лихого помещика».

Другим недостатком прежнего издания воспоминаний Панаевой было искашение имен и фамилий. Поэт Рогачев у нее превратился в Рачера, Крутицкий — в Круцинского, Делаво — в Делярю, Вера Аксакова — в Марию Аксакову, Каролина Карловна — в Павловну, Головнин — в Головина и т.д. Всюду, где было

возможно, мы исправили эти неточности. Сообщаемые Панаевой в четвертой главе замечания цензора Красовского на одно стихотворение Олина сверены с подлинным текстом.

Самое слабое место воспоминаний Панаевой — даты. Она сама предупреждает читателя, что у нее нет памяти на даты. Желая сделать ее книгу надежным пособием при изучении истории русской словесности, мы всюду, где было возможно, проверили указанные ею годы и месяцы и заменили неточные — точными...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наводнение — Декабрьский бунт — Шаховской — Карагыгин — Пушкин — Холера 1831 года

Я родилась и выросла в театральном мире. Мои отец и мать (Брянские) были артисты императорского театра в Петербурге.

Я очень отчетливо помню свое самое раннее детство. В моей детской памяти запечатлелось множество лиц, которых я видела, разговоры, которые я слышала. Я слишком рано стала наблюдать все, что вокруг меня делалось и говорилось взрослыми.

Мы жили в казенном доме, в котором давались квартиры семейным артистам и театральным чиновникам. Контора театра помещалась в том же доме и занимала квартиру в четыре комнаты. Чиновников тогда было очень немного, и я знала их всех в лицо: Зотова — романиста, Марселя, Ситникова и еще нескольких человек, которых фамилии забыла. При театре был доктор Марокети, маленький господин с большими черными глазами, у которого почему-то постоянно качалась голова, как у алебастровых зайчиков.²

При вступлении А.М. Гедеонова в должность директора театров, в 1833 году, театральные чиновники быстро стали размножаться, так что очень скоро из них образовался целый департамент. Киреев, Ротчев, Федоров — водевилист, часто бывали у нас: все они были бедняками и еще не играли той важной роли при театре, как впоследствии. Потом уже Киреев и Федоров сделались богачами, даже писец Крутицкий, которого я видела по вечерам в детстве дежурным в конторе, ходившим босиком, чтобы не износить свои сапоги, — и тот нажил себе дома, дачу.³

Казенный дом, где мы жили, был большой: он выходил на Офицерскую улицу, на Екатерининский канал у Пешеходного мостика со львами, близ Большого театра, и в маленький переулочек (не помню его названия), выходивший на Офицерскую улицу. Сначала мы жили в квартире, окна которой выходили на Екатерининский канал; потом отец занимал в этом же доме более обширную квартиру, и уже наши окна выходили в маленький переулок и на Офицерскую улицу.

В день наводнения в Петербурге в 1824 году (7 ноября) я смотрела на затопленные улицы из окон квартиры, выходивших на Екатерининский канал. Хотя мне было немного лет, но этот день произвел на меня такое впечатление, что глубоко врезался в моей памяти. Под водой скрылись улицы, решетки от набережной, и образовалась большая река, посреди которой быстро неслись доски, бочки, перины, кадки и разные другие вещи. Вот пронеслась собачья будка на

двух досках, с собакой на цепи, которая, подняв голову, выла с лаем. Через несколько времени неслось плот, на нем стояла корова и громко мычала. Все это быстро неслось по течению, так что я не успевала хорошенко всматриваться. Но плывшая белая лошадь остановилась у самого моего окна и пыталась высокочить на улицу. Однако решетка ей мешала; она скоро выбилась из сил, и ее понесло по течению. Этую лошадь мне чрезвычайно было жаль, и я не пожелала более смотреть в окно.

Услыхав разговоры теток, что отец едет на лодке спасать утопающих, я побежжала глядеть на него в окно во двор. Двор наш тоже был залит водой, поленицы были размыты, и дрова плавали по воде. Отец стоял в лодке и отпихивался багром, направляя лодку к воротам. Я смотрела на бабушку, которая тяжко вздохнула и перекрестилась, когда лодка скрылась в воротах. По ее морщинистым щекам текли слезы. Бабушка пошла на кухню, я последовала за ней; там сидело несколько женщин с детьми: это были жены статистов, квартиры которых в нижнем этаже затопило водой. Бабушка распоряжалась, чтобы им дали поесть, а я вышла в сени, заслышив мычание коровы. На ступеньках лестницы сидели статисты с узлами, с самоварами и образами. На верхней площадке навалены были сундуки, столы, кровати, тюфяки и подушки, а на нижней стояла корова и корзины, обмотанные тряпьем, в них бились и кудахтали куры. Две дворовые маленькие собачки, дрожа, прижались к стене.

Не знаю, кого мне было жаль: людей или собак? Должно быть, собак, потому что я стала их звать к себе, но меня увидала наша прислуга, зачем-то вышедшая в сени, и проводила в комнаты.

Это утро показалось мне бесконечно длинным и тосклившим. День был пасмурный, ветер завывал, и раздавалась пушечная пальба. Когда стало смеркаться, я заметила тревогу на лицах старших, — они поминутно смотрели в окна, а бабушка сердито ворчала: «сумасшедший, у самого куча детей!»

Я поняла, что бабушка сердится на отца, и удивлялась — почему она боится за него. Я была уверена, что он не утонет, потому что видела раз, когда мы летом жили на даче, как он в охотничьем платье переплыval большое пространство воды с одного берега на другой, действуя одной рукой, а в другой держа вверх ружье и пороховницу. Находясь, он тем же порядком возвращался назад. Мать и бабушка брали его за это, а мы, дети, были в восторге от такой выходки отца. Однако, тревога старших подействовала и на меня, и я ужасно обрадовалась, когда отец вернулся домой, весь мокрый и иззябший.

Не знаю, от кого отец получил бумагу, где ему была выражена благодарность за спасение утопающих в день наводнения.

У нас постоянно бывали гости, преимущественно статские, а потому на военных гостей я всегда обращала особенное внимание, когда они приезжали к нам. С графа Милорадовича я не спускала глаз; меня удивляла его необыкновенно выпуклая грудь с орденами; его небольшие усы были черные, а коротенькие волосы на голове совершенно другого цвета. Когда он смеялся, то кисточки на его эполетах дрожали. Он играл с отцом всегда на биллиарде. Потом уже я узнала, что он был большой театрал.⁴

Другой военный гость, декабрист Якубович, бывал у нас чаще. Должно быть, он любил детей, потому что постоянно подзывал к себе кого-нибудь из нас. Для детей его фигура была страшна. Якубович был высокого роста, смуглый, с

большими черными усами; но главное, что нас страшило, — это черная повязка на лбу, прикрывавшая полученную им рану пулей. Я была из смелых детей, не боялась его, и часто подолгу сидела у него на коленях; он давал мне играть своими часами и чугунным кольцом, которое снимал с пальца.

— Где моя храбрая девочка? — спрашивал Якубович, если не видел меня в комнате.

Якубович постоянно спорил со всеми и очень горячился, когда говорил. Часто, сильно разгорячась, он сдвигал свою черную повязку со лба на волосы, которые у него были черные, густые и стояли дыбом, и я всякий раз рассматривала круглое углубление у него на лбу и даже раз ткнула пальцем в это углубление, чтобы удостовериться, есть ли там пуля. Он очень смеялся и защитил меня, когда тетки накинулись на меня и хотели наказать за мою дерзость.⁵

Меня никто не ласкал, а потому я была очень чувствительна к ласкам.

День возмущения 14 декабря 1825 г. я также хорошо помню. На лицах у всех взрослых был испуг. Мать и бабушка уговаривали отца неходить на Сенатскую площадь, но он ушел. Когда у нас задрожали стекла от пальбы, то все пришли в ужас. Наш лакей, побежавший смотреть бунт, вернулся бледный, дрожа всем телом, и рассказывал, что не мог попасть на площадь, потому что она окружена войсками, причем ему говорили, что там убито много народа. Я тоже расплакалась при виде слез бабушки и матери. В этот день никто из старших в семье не садился за обед. Все повеселели, когда отец вернулся домой. Я слушала его рассказ, как убили графа Милорадовича на площади, как стены домов, где стояли бунтовщики, окрасились кровью. Мне сделалось страшно после этих рассказов. Не могу определенно сказать, через сколько времени, но что-то скоро, отца и актера Борецкого взяли к допросу; отца продержали с утра до поздней ночи. Все наши домашние были еще в большей тревоге, чем в день бунта. Я не могла заснуть, видя, как бабушка то молилась на коленях перед образом, у которого зажгла лампаду, то горько плакала, уткнув лицо в подушку, то бросалась к окну, засыпав стук дрожек на улице. Отец вернулся домой, а Борецкий лишь через месяц, а может быть и более, возвратился в свое семейство. Отца допрашивали о его знакомстве с Якубовичем. У Борецкого младший брат был офицером в Московском полку и в день бунта ночевал у него.

Я очень любила присутствовать при считке ролей, или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы, но я заранее пряталась в укромный уголок, между турецким диваном и бюро, и оттуда наблюдала за всеми.

Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутой большой тетрадью, я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли; кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на средину комнаты; иногда выступало двое или трое.

Князь Шаховской был мой крестный отец, но это не мешало мне передразнивать его в детской, как он распекал актеров и актрис, когда они читали свои монологи. Детям всегда кажутся в преувеличенном виде рост и полнота в людях, и живот князя Шаховского представлялся мне огромным. Не могу сказать, был ли он в это время директором театра; но он всегда присутствовал на описанных

выше собраниях у нас.⁶ Лицо у него было широкое, щеки и подбородок висели на белой косынке, обмотанной на короткой и широкой шее. Волосы на его голове были неопределенного цвета, очень жидкие, но длинные. Когда он сердился, что плохо читают стихи, то ерошил себе волосы, и длинные жидкие пряди путались и придавали чрезвычайно смешной вид его лицу. Он слегка шепелявил.

— Ты, миленький, подлец! — подскакивал он к актеру Калинину. — По трактирам шляешься, а роль не учишь!

Калинин каждый день обедал у нас. Он запивал и имел дурную привычку перевирать слова в своей роли. Как актер, он был из плохих и большею частью ему давались маленькие роли.

Молодых актрис князь Шаховской часто доводил до слез, заставляя их по несколько раз начинать свой монолог, и все кричал:

— Читай своим голосом! Пишишь! Ты, миленькая, дурища, уха у тебя нет! Где у тебя размер стиха? В прачки тебе надо было идти, а не на сцену.

Доставалось и В.А. Карагыгину от князя Шаховского. Карагыгин тогда был молод; мне он казался великанином. Выражение лица у него было хмурое, но хмурость еще более усиливалась, когда князь Шаховской распекал его.

— Зарычал, завыл! — ероша волосы, говорил князь Шаховской. — Стой, у тебя, миленький, дурак, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярмарках в балагане тебе играть! Повтори!

Карагыгин видимо сердился, но повиновался и повторял монолог.

И.И. Сосницкому, молодому тогда еще актеру, тоже немало доставалось от Шаховского.

— Опять зазюкал, миленький, — кричал князь. — Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь. Раскрывай рот!

Только когда читала свою роль Екатерина Семеновна Семенова, Шаховской не останавливал ее, а в длинном монологе, как бы слушая музыку, покачивал в такт головой.

Екатерина Семеновна считалась в то время первой трагической актрисой. Она была тогда уже пожилая женщина, небольшого роста; лицо у нее было продолговатое, строгое. Я находила в ней большое сходство с женским бюстом, который стоял у отца на шкафу в кабинете: такой же прямой нос, такие же губы. Мне не нравилось в Екатерине Семеновне, что у нее была маленькая жиденькая косичка на голове, зашпиленная одной шпилькой.

Я помню ее белую турецкую с букетами шаль; тетки восхищались этой шалью и говорили, что она очень дорогая и ее можно продеть в кольцо. Екатерина Семеновна всегда была в этой шали. Она не надевала никаких драгоценностей, но из рассказов теток я слышала, что у нее много бриллиантов и что она очень богата. Я видела у нее только маленькую золотую табакерку с каменями на крышке; она постоянно вертела ее в руках и часто из нее нюхала табак. Тогда нюханье табаку дамами так же было распространено, как теперь курение папирос. Я заметила, что все относились к Семеновой с особенным почтением, да и она держала себя важно со всеми. Приезжала она к нам в своей карете, с ливрейным лакеем. Кажется, она уже была тогда замужем за князем Гагариным.⁷

Ее сестра, красавица Нимфодора Семеновна, тоже выезжала всегда в своей карете и с ливрейным лакеем. У остальных актрис ни у кого не было ливрейных